

Автор представлен членом Художественного совета **Юрием Семенцом**

Про мыльницу

Выльется,
обязательно всё когда-нибудь выльется
в обыкновенный фарс и обман!

Будут пылиться рядом с забытой мыльницей
толстые непрочитанные тома.
Будет цвести сирень, и травинки острые
ржавую бочку проткнут в саду,
и повилика жёсткими злыми отростками
защекочет морковную борозду.
Будут орать коты у крыльца бродячие
и привычно, всю ночь – до утра,
будут падать на землю искры горячие
из вселенского плазменного костра.
Будет год високосный (какой-то-тысячный),
старый дом у околицы, ну а в нём
будет кто-то жарить яичницу
и бродить по лестницам с фонарём.

И любить кареокую тихую женщину,
и вино, и престранную эту жизнь.
Будет он, как я (может, ростом поменьше),
но сумеет выжить, себя продлить
до финала божественнейшей из комедий,
до безумно далёкого далека –
до момента, когда из седых созвездий
вдруг протянется к мыльнице чья-то рука.
Глядь, а мыльница-то пустая
(старина Шопенгауэр, ты был прав)!

И взлетит перелётных ангелов стая
над духмяным разливом весенних трав.
И за кадром, тихонечко (без интереса)
кто-то скажет, что смысла, похоже, нет
в тривиальной, но очень красивой пьесе,
протяженностью в бездну лет...

Мартовское

Он, триедин, спускался на заре в эдем уездный за расстригой-мартом.
Здесь из лазури, ветра и азарта кроил мой мир крестов и сизарей –
звонящий мир капелей и дождей, церквушек, облепиховых настоек,
мир новостроек, строек, перестроек, монастырей, брусчатых площадей.
Он судьбы шил из тысячи причин двойною нитью веры и безверья
и облаков задумчивые перья ронял на стёкла зданий и машин.
Укутывал в туманы древний град и, кто бы знал, скрывал ли он дорогу?
Но бог был мудр, а, значит, слава богу за путь вотще, в ничто и наугад.
Переполюняла странная печаль отца и сына и святого духа,
и наливал он память-медовуху на посошок в колодезный грааль.
В бездонном небе таяли дымы. Архангел, так на дворника похожий,
делил на проходимцев и прохожих, сбжавших от тюрьмы и от сумы.
Мир сотворённый – буен, юн, жесток – плыл в пустоте с чудным названьем
«Лета».
И бушевало время над планетой, и я ему противился, как мог...

Осеннее

Кровоточила стылým ливнем небес разверзнутая рана.
Стропила в обветшавшем доме скрипели чуточку дизель.
Вращало водосток норд-остом, как дуло чёрное нагана,
царапал сумерки ветвями промокший оголённый лес.

В низовьях плавали туманы над пожелтевшими лугами –
там кто-то робкий и забытый на долю плакался в ночи.
Гонимая ветрами осень бродила, прячась за стогами,
и зябко куталась в обноски багряной лиственной парчи.

Пустынный сад шумел о вечном, в земную плоть вонзая корни.
Отцовский сруб – ковчег библейский всё плыл и плыл среди дождей.
Взлетевший к тучам лист кленовый метался над крестами молний,
касясь тленною ладошкой вселенной крошечной моей...

Поддавшись присной турбулентности
своей мятущейся души,
в божественной многовалентности
святой приземистой глуши,
хмельной, но бритую субстанцией,
я выпаду среди холмов –
меж школой и метеостанцией,
меж двух чулымских рукавов.

Сомну гречиху запылённую
у входа в позабытый рай.
Вдруг, не узнав меня – холёного,
поднимет пес Антихрист лай.
Закурит «беломор» задумчиво
артельный сторож – Гавриил,
и побегут дымки летучие
туда, где я при жизни жил.

Туда, где крыши почерневшие
торчат из высохшей травы,
где только комары, да лешие,
да тракт разбитый – до Тувы.
Где баба Дуня с тётёй Зиною –
информбюро всея Руси,
где три сосны у магазина и
в пруду заросшем – караси.

Там, под стрехою скособоченной,
я рос упрямый, как пырей.
Там время дремлет у обочины,
а дед Никифор – у дверей.
Там прошлое – в далеком будущем,
за сотню вёрст, за той рекой,
и блудный я в джинсовом рубище,
и всепрощенье, и покой...

Аэродинамическое

Как на шагаловских полотнах,
сверкая фиксой сквозь листву,
летит по небу буйный кто-то
и матерится в синеву.

Его куда-то ветер гонит,
в карманах весело гудит,
дух родниково-самогонный
бурлит в прокуренной груди.

Поодаль шурин – переросток
(четыре срока, знать – орёл)
глазами ищет перекресток,
тот, что судьбу и жизнь развёл.

Соседка мимо проплывает
как буй, пленительно стройна, –
мол, никого из них не знает,
мол, чья-то мужнина жена.

Летят веснушчатые дети
над полем с сорною травой,
бульдозерист по кличке «Йети»,
наш агроном с утра кривой,

бухгалтер хмурый с авторучкой,
его невестка с молоком,
корова ейная и сучка
с приبلудным наглым кобельком.

Летят людишки над Рассеей,
над подорожным дурачьём,
печаль и смуту в душах сеют
и не жалеют ни о чём.

Летят над окоёмом рыжим
привычным курсом – в никуда,

как лист фанеры над Парижем,
как в Лету талая вода

уносит глину, растворяя
всё в перевозданной синеве, —
к воротам призрачного рая,
к тебе, о господи, к тебе...

Молитва

Пожалей мя, Господи, во хмелю.
Я хмельной, не мёртвый — совсем дурак.
Не ропщу, не верую, не люблю —
пожалей мя, Господи, просто так.

Небеса в криничную синь пролей,
заплети ветрами дожди, как встарь,
рушники ромашковые полей
постели на землю, как на алтарь.

Не в эдемских яблоневых садах,
а в белёсой бездне над головой
схорони мя, Господи, навсегда —
не смотри, что будто бы я живой.

Ты пришли жнецов своих на заре,
похмели студёной блазной росой,
чтоб, озябнув в утреннем серебре,
я к тебе, как в детстве, побрёл босой.